

A surreal image of a pink tree growing from a chair on a hill. The tree has a thick, vertical trunk that emerges from the back of a dark wooden chair. The branches are thin and numerous, spreading out in all directions against a clear blue sky. The chair is positioned on a grassy hill, and in the background, a small town or village is visible on a hillside under a soft, hazy light. The overall mood is dreamlike and artistic.

Анна Мария
Карпи

Дорогие другие

Анна Мария Карпи

Дорогие другие

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=42601559

Дорогие другие / А. М. Карпи; пер. с ит. Т. Стамовой; под ред. М.

Талалая: Алетейя; Санкт-Петербург; 2018

ISBN 978-5-907030-93-0

Аннотация

Сборник переводов стихотворений миланской писательницы и филолога Анны Марии Карпи с параллельным итальянским текстом. Ее поэзия в равной степени обращена в себя и вовне, к дорогим, порой совершенно не знакомым людям, к неумирающему прошлому, сквозящей в каждом миге бесконечности; автор одинаково естественно ощущает себя в природе и культуре.

Содержание

Почему я пишу	5
«Il mio cuore ha l'accesso stretto...»	11
«Fosse stato mio padre un pescecane...»	12
«Una madre io l'ho avuta...»	14
«Lei vive sola?...»	16
«Lui era attore, ha detto?...»	18
«Casa non vera...»	20
«Allegro corso di Porta Nuova...»	22
«Solo unghia di fuoco all'orizzonte...»	26
«Ad uno ad uno se ne sono andati...»	28
«Mastro Eridano, milanese, padano...»	31
«Una lettera giunta ieri sera...»	35
Конец ознакомительного фрагмента.	37

Анна Мария Карпи

Дорогие другие

Anna Maria Carpi
CARI ALTRI

Traduzione in russo di
Tatiana Stamova

A cura di
Michail Talalay

San Pietroburgo
ALETEJJA
2018

Перевод с итальянского
Татьяны Стамовой

Под редакцией
Михаила Талалая

Почему я пишу

Я пишу, потому что так решил мой отец. Я училась в средней школе, когда он, актер, драматург и детский писатель, родившийся в конце уже позапрошлого века, сказал мне: начини вести дневник, это полезный опыт, ты научишься двум вещам, необходимым для каждого писателя – выражать себя и говорить правду.

Насчет говорить правду, не уверена, но опыт был действительно полезным. В то же время он так захватил меня, что эти мои дневниковые тетради, в которых я была безраздельной хозяйкой, надолго стали единственным выходом для моей творческой энергии.

Дневник способствует самоуглублению, но избавляет от необходимости придумывать и выстраивать. Тут-то и крылся подвох. В лицее мне предложили писать рассказы, но то, что я начинала писать от третьего лица, было напрочь лишено всякой динамики. И каждый раз после первых же страниц я приходила в отчаянье и отказывалась от этой очередной попытки. Вот если бы писательство было для меня вопросом существования, думала я и умирала от зависти к Кнуту Гамсуну – тому Гамсуну, что в середине позапрошлого века написал Голод, блуждая по Осло без гроша в кармане.

В то время вся проза для меня сводилась к примитивной идее реалистического повествования. Между тем меня

в этом мире привлекало другое – я хотела передать его волшебство и очарование. И вот, параллельно с дневником, стали писаться стихи. Дебют был неплох: участвуя в лицейском конкурсе, я получила премию Лучано Анчески, критика, и теперь пользующегося большим авторитетом.

На самом деле ведение дневника и писание стихов в чем-то схожи. Прав Малларме, полагающий, что писать стихи легче, чем прозу. Многие не верят, но это действительно так. В стихах мы порхаем, а верни нас на землю, к связности и последовательности прозы, и станет понятно, что мы еле держимся на ногах.

Между тем один мой знакомый-литератор, годившийся мне в отцы, утверждал, что поэзия играет на руку моему страху. Так оно и было на самом деле. Писание стихов – это как снайперская стрельба из укрытия, а в прозе мы сражаемся в открытую, среди других, одновременно проходя испытание на правдоподобие. Но время шло, и наконец я закончила и опубликовала несколько коротких рассказов. Теперь мой наставник уговаривал меня написать роман.

Тут нужен был стимул – что-то похожее на голод Гамсуна. Им и стала любовь. Дни полноты и остроты чувств, того, что мы называем счастьем – пока я не заметила того, о чем должны были знать другие: эта река бурлит и ликует, но влюбленные, как два ее берега, едва различимые в тумане, не дотягиваются друг до друга. Другой не существует, но я еще этого не знала и потому снова впала в отчаянье. Стиха-

ми тут было не обойтись, да и «муза» моя в это время молчала. И вдруг пришло озарение: чтобы спастись, мне нужно погрузиться в длительный и кропотливый труд – изложить, обстоятельно и подробно, перемешивая правду и вымысел, все пережитое мною за это время.

Предпочитаю не останавливаться здесь на всех трудностях и издержках работы над этим моим первым романом. Тогда мне не хватало той отстраненности от материала, о которой знает каждый писатель и к которой я пришла потом, – в двух романах, написанных позднее. И все-таки книга была завершена – и это стало моей трудной и очень нужной победой над собой.

Понятно, что это судьба. Да, мне всегда нравилось учиться, преподавать, заниматься наукой. И сделала я в этой области немало, и этот мой труд признан и оценен. Но для души мне нужно другое. Если бы я сразу пошла на этот смертельный риск – писать, не отвлекаясь ни на что другое! До сих пор жалею, что это не так. Оправдание есть: мне нужно было поддерживать семью. И всё же дело не в том. Риск этот связан с одиночеством, а я всегда испытывала острее необходимость быть среди людей. Прежде чем я окончила лицей, у моего отца возникла ещё одна ценная мысль – чтобы я выучила русский язык. (Потом, в Университете, я учила немецкий.) Он считал, что это язык будущего. «Не говори родственникам, что ты учишь русский, они подумают, что ты коммунистка, и будут неприятности». Но комму-

низмом я заболела уже и избавилась от этой веры далеко не так скоро.

На темной улочке рядом с Театром Ла Скала располагалось здание Ассоциации «Italia-URSS», при которой были вечерние курсы. Сейчас она находится в двух шагах от Piazza del Duomo. Четыре года я ходила на эти курсы, а когда получила диплом, мне предложили там преподавать, но вначале нужно было пройти стажировку в Москве.

Тогдашняя Москва, я писала об этом в моих дневниках, произвела на меня удручающее впечатление. И не только на меня, но и на других моих сверстников, тоже приехавших с Запада и живших, как я, в общежитии на Ленинских горах. Никто из нас не ожидал от этой огромной столицы такой бедности и запустения. (Утешением для нас стала трехдневная поездка в Ленинград.) Зато в Доме Дружбы на проспекте Калинина я познакомилась с людьми, которых уже никогда не забуду. Вальяжная Анна Михайловна, бывшая фронтовичка, обожавшая итальянскую оперу и жившая на окраине в шестистажном доме без лифта, Елизавета Фейнберг, которая, будучи под впечатлением от моих успехов, однажды дождливым вечером, на скамеечке перед Большим театром, устроила мне импровизированный диктант по русскому языку. И другие – все, конечно же, члены партии – тоже принимавшие в нас, стажерах, большое участие, относившиеся к нам как к родным детям и наследникам их светлой веры в будущее. Как можно было их всех не любить?

Но вернусь к поэзии. По-настоящему я начала писать стихи (чтобы уже не перестать) после фиаско моего первого романа, не менее болезненно пережитого мной, чем фиаско любви. Упрощая, можно разделить поэзию на смысловую и формальную, работающую с языком по ту сторону вещественного мира, но я, признаюсь, до сих пор не знаю, что понимается под этим «языком», для меня вещи и слова не делимы.

Мои стихи идут бок о бок с жизнью. Как правило, они начинают писаться, когда у меня всё плохо – это знакомо многим, но обычно об этом молчат, или говорят о другом и как-то движутся дальше. От неискушенных читателей мне приходится слышать, что стихи у меня грустные. Я отвечаю, что грустна литература: без грусти, без жизненного разлада с этим миром её просто не было бы. Американец Роберт Кувер говорит, что писатели делятся на апологетов и иконоборцев, и я – среди первых, или же, как хочет Клаудио Магрис, есть писатели-отцы и писателидети, и тогда я среди вторых. И да, осенние слезы, ирония, скепсис в отношении к себе и к другим, но то там, то здесь неслыханной гостьей заявляется радость. Откуда бы? Ответ простой: я верю. Во что? В бесконечность. Могла бы повторить за Исааком Бабелем: «Я работаю из последних сил, делаю все, что могу, потому что хочу присутствовать на празднике богов и боюсь, чтобы меня не выгнали оттуда».

Поэзия – легкая игра. Вспышка, откровение, пережива-

ние, стихи. Но теперь она уже не играет на руку страху. Наоборот, в поэзии я не боюсь открывать в себе ребенка, экстремиста, элементарную жажду человеческого тепла, недоверие к любому фанатизму, будь то церковная ортодоксия или дарвинизм. Мы ничего не знаем, и тут я даю волю воображению и хочу думать вместе с Паскалем, что вера это всего лишь вопрос сердца. Хочу, чтобы моя поэзия была такой, какой она видится Ролану Барту в его «Подготовке к роману»: *simple, filiale, desirable!*

Анна Мария Карпи,
май 2018 г., Милан

«Il mio cuore ha l'accesso stretto...»

Il mio cuore ha l'accesso stretto
il sangue non ci passa facilmente
o rigurgita o rimane dentro,
così gli altri non sanno
che passione ho per loro
che potrei
fermare anche gli ignoti per la strada
e dirgli
tutto quello che ho dentro e non mi passa —
e sarebbe la grazia.

Узок вход в мое сердце
кровь проталкивается с трудом
топчется больше на месте
и другие не знают
как я люблю их —
могла бы
любого на улице остановить
сказать сразу всё
что во мне замедлилось
и не проходит —
то была бы милость.

«Fosse stato mio padre un pescecane...»

“Fosse stato mio padre un pescecane
mia madre una balena e lui avesse
sbranato i balenieri e io nuotato
nel loro sangue”.

Non è mia, l’ho presa da un poeta,
un genio disperato,
uno smodato – io non lo sono,
nemmeno questo sono.

“Fosse”, “avesse”, e fu tutto il contrario.
Ma anche in lui, nel genio,
sanguina la ferita dei genitori inetti:
gli amati, i maledetti.

«Был бы отец мой нарвалом
а мать китихой) —
порвал бы тех китобоев
и я бы плавал
в их крови»

не мои – это строки другого поэта
не смилившийся гений
безумец – этого нет
во мне – даже этого нет.

«Был бы, порвал бы» —
а было наоборот
и в нем
гении том
рана кровит родителей невиноватых
любимых,
проклятых.

«Una madre io l'ho avuta...»

Una madre io l'ho avuta,
viva ardente
sempre via con la mente
inetta a vivere.
Sarà stata poi lei?
Mai le ho dormito in grembo.
Era un uccello
che migrava
con le ali tarpate.
Così io non ho misericordia di me stessa,
e non ho niente che mi abbracci dentro.

Мать была у меня
молодая, живая
с неприкаянным сердцем
не умевшая жить.
Или это была не она?
(я никогда не спала у нее на руках)
Перелетная птица —
крылья подрезали ей
а она летала.
И до сих пор
нет во мне жалости к себе — ничего

внутри, что бы меня обнимало.

«Lei vive sola?...»

“Lei vive sola?”

Sì, nella casa di sempre,
nella casa dei miei.

“E sono morti entrambi?”

Per l'anagrafe sì —

e lei non torna e non sa
più chi eravamo noi.

Dopo le notti insonni
nel letto vuoto

dorme senza memorie
in capo al mondo.

Ma è di lui che ho paura.

A volte scricchiola

qualcosa nella stanza,
la stanza in fondo, la sua,
che tengo chiusa,

e io fisso la porta, e il gancio oscilla.

«Вы живете одна?»

Да, все там же, в родительском доме.

«Умерли оба?»

Свидетельство есть. —

Она не приходит,

не помнит уже, кем мы были —
после бессонных
ночей
в постели пустой
спит на краю Земли
без воспоминаний.
А его я боюсь.
В дальней комнате, той,
что была его и стоит закрытой,
пол заскрипит —
и я закрываю дверь
и смотрю, как дергается
щеколда.

«Lui era attore, ha detto?...»

“Lui era attore, ha detto?”

Un tempo sì. Poi scriveva soltanto.

Le mattine d'inverno che alle dieci

arrivava la posta,

a volte c'era un plico di ritorno,

raccomandato con lettera.

La risposta è breve,

in mezzo al foglio,

ala di carta ripiegata in quattro,

e che venga dai vivi

com'è strano,

e perché stamattina, dopo mesi?

Io guardavo sospesa.

Lui replicava la mattina stessa,

la sua replica al nulla,

due facciate,

a mezzogiorno l'andava a spedire.

Perché, diceva, mi fa bene reagire.

«Говорите, он был актер?»

Раньше. Пока не начал писать.

Помню зимние утра:

в десять обычно приходила почта,

редко – конверт:
возвратили рукопись.
Ответ короткий, в середине листа.
Крыло бумаги
сложено вчетверо.
От живых – это странно:
почему сегодня
утром после стольких
месяцев тишины?
Я смотрела молча.

Этим же утром он садился писать
свой ответ ничему.
На двух сторонах.
Днем ходил отправлять на почту.
«Просто мне будет лучше,
если отвечу».

«Casa non vera...»

Casa non vera,
casa dell'abbandono,
i letti disfatti fino a sera,
nessuno che compra da mangiare.
Lui sta nella sua stanza a sognare
con suo fratello Nietzsche,
lei in quella accanto e cuce,
e fantastica e parla
da sola d'ingiustizie patite,
e nessuno l'ascolta, sol l'inverno
coi suoi fiori di ghiaccio. E il mondo umano?
C'era una volta, in un paese lontano.
E la speranza?
È la bambina.
Poi ogni tanto un nonnulla
fa di loro due belve.

Дом призрак, дом забвенья,
постели не застелены
весь день,
и за продуктами никто не ходит.
Он в комнате своей —
в своих раздумьях

с собратом Ницше,
она в соседней, на машинке шьет
и бредит? – говорит сама с собой
о бедах и обидах.

Никто не слушает кроме зимы
с цветами изо льда. А мир людей?
Он был когда-то, но в другой стране.
А что – надежда?

Девочка она.

Какой-нибудь пустяк – и вместо них
двоих – два зверя диких.

«Allegro corso di Porta Nuova...»

Allegro corso di Porta Nuova
alle cinque di sera,
su nel cielo le rondini d'aprile
e all'ospedale è l'ora dei parenti.

Ogni sera io ci andavo
ebbra di me com'ero e in gran salute.
Lui soffriva? No
nessun lamento,
aveva Nietzsche sul comodino,
sto rileggendo, dice, Umano troppo umano.

Era un sogno quell'ora:
finalmente lui che sta con gli altri
come faceva un tempo, prima
del suo tremendo vivere per me.
Era caro ai vicini, si vedeva,
gente benigna gente come tutti,
le mogli sorridevano:
figlia sua, così giovane...
l'unica, eh?
E io che penso: lo tenessero qui,
io sarei ogni sera qui al suo letto.

I parenti alle sette se ne vanno,
e a me come spiaceva
d'andare via al passaggio dei carrelli,
nell'odore del cibo,
coi pazienti che vociano in saletta da pranzo
con la tv accesa. Come avrei voluto
restare a cena e restare ogni notte
con lui con gli altri in quel luogo sicuro.

Non è andata così.
Lui non c'è più.
Io sono sempre quella che alla morte non pensa.

Веселый переулок у Порта Нуова.
5 вечера,
в небе апрельские ласточки,
в больнице —
час посещений.

Я приходила сюда каждый вечер,
упивалась собой
и своим здоровьем.
Страдал ли он? Нет.
Ни единой жалобы.
На тумбочке – Ницше.
Перечитываю, говорил,
Слишком человеческое.
Тот час был как сон:

наконец он с другими,
как прежде, до этой
жуткой жизни ради меня.

Видно: соседи любят его – простые
милые люди.

Жены их смотрят с улыбкой:
Дочка. – Молоденькая совсем.
Единственная?

Я думаю: хоть бы
поддержали ещё!
Я буду с ним каждый вечер.

В семь родственников уходят.
Мне нравились эти тележки,
пахнувшие едой:
из столовой слышны
голоса пациентов,
телевизор включен,
как бы мне хотелось
остаться на ужин, остаться на ночь
здесь, где он рядом с другими,
в этом месте надежном.

Не получилось.
Нет его. —
Я осталась
прежней, той,
что не думает

о смерти.

«Solo unghia di fuoco all'orizzonte...»

Solo unghia di fuoco all'orizzonte
poi d'un tratto
è uscito intero, un disco palpitante
un piatto d'oro chiama la terra alla sua festa grande,
e poi arriva dentro la mia stanza,
dal davanzale al letto al mio cuscino
e tutto è d'oro.

Giorno della mia vita:
non è questo che conta e questa
mia stranissima salute
e la mia fede che per me non c'è fine?

Только что
огненный ноготь на горизонте
и вот — диск огня
золотое блюдо —
землю зовет на огромный пир
в комнату входит ко мне
подоконник постель подушка —
в золоте всё.

Может только это и значит —

этот день моей жизни,
моё страннейшее выздоровление,
вера моя, что для меня бесконечна?

«Ad uno ad uno se ne sono andati...»

Ad uno ad uno se ne sono andati
i padri
di questa mia dissennata giovinezza
che non potrà aver fine, non potrà,
io non ce l'ho
un'altra età possibile.

Se n'è andato il tedesco
che leggeva con me Schiller e Goethe,
e che scriveva versi sui lillà —
credimi, bambina, la shoà
è soltanto un inganno.
O il nanetto, il dottore,
l'inventore di un farmaco anticancro.
O l'incazzoso S., il mangiapreti,
che di sabato sera a casa sua
ci parlava degli angeli della chiesa ortodossa,
dove frusciano ali e tutto è luce.
O G., o B., i più amati,
l'uno preda agli infarti ed infelice,
l'altro votato al bere
e all'andare in gloria e così sia.

Fame di padri, fame senza fine.

Non valevano quanto io credevo,
erano degli umani come tanti,
cari, bizzarri, vani, e la vecchiaia
aveva fatto pallidi gli sguardi
e svagati i discorsi. Ma che importa?
Com'erano davvero cos'importa?
Mai il vero mi ha interessato.

Один за другим
поуходили отцы
моей юности глупой,
она же кончиться
не может, не может,
нет у меня и не будет
другого возраста никакого.

Немец ушел,
читавший мне Гете и Шиллера,
писавший стихи о сирени,
поверь мне, девочка,
Шоа – это просто обман;
П. – этот карлик почти,
веривший, что изобрел
лекарство от рака;
страшный С., «людоед»,
знавший об ангелах
в православном храме
(ше лест крыльев

и всюду свет)
и любимейшие Д. и Б. —
инфарктник с несчастной судьбой
и спивавшийся «гений».
Как не хватает мне их —
бесконечно,
полубоги тогда для меня,
люди как все,
дорогие, чудные,
старость стирала
лица, взгляды
и приглушала слова.
Кто были на самом деле,
какая разница? —
«на самом деле»
никогда меня не волновало.

«Mastro Eridano, milanese, padano...»

Mastro Eridano, milanese, padano,
nato in zona Centrale,
verso viale Brianza,
su, lascia la poltrona,
cosa c'entra il diabete
e che serve la moglie
e ottant'anni che sono?
Non hanno età i maestri,
hanno maestri e allievi mille anni
o dieci o due o nulla.
Su, prendi le tue penne
e la verga e la cappa di sciamano,
dimmi dove le tieni – dietro ai libri?
Tu sorridi: è vero, a parte il russo,
un tempo mi son dato alla magia.
Da qualche parte ancora, in un cassetto,
devo avere la pietra.
La pietra? E quale?
La filosofale.

Lo stormo è alto in cielo,
vieni,
non rimaniamo indietro.

A Mosca staccheremo dalla trave
il bellissimo Esenin suicidato,
e dalla tomba prenderemo Babel'
e Mandel'stam e Blok, i tuoi poeti,
poi oltre gli Urali tutti gli animali
nostri antenati, e Dersu Uzala.

In vita tua
hai fatto una
passione per le donne:
a Samarcanda avrai
la più bella del regno come sposa.

Tu sospiri:
ah, sei giovane tu! Io sono un vecchio.
Oh, non trovare scuse.
Fuori la cappa azzurra di sciamano!
Azzurro, azzurro, gioia dell'abisso.

Эридано – Учитель,
итальянец, миланец
коренной (родился
возле виа Брианца),
ну же, оставь своё кресло,
диабет ни при чем,
и зачем жена,
когда тебе восемьдесят?
Учителя не имеют возраста:
учителям,

ученикам может быть
тысяча, десять, два и нисколько.
Бери свои перья,
трость и шапку шамана —
где ты спрячешь ее,
за книгами, может?
Улыбаешься: да, было дело,
русский, магия, да...
там в ящике где-то,
посмотри, должен быть и камень.
Какой?
Философский.

Стая уже в облаках,
пойдем, что нам делать
в доме? – В Москве
оживим Есенина, выйдет
Бабель к нам,
Блок, Мандельштам,
поэты твои,
за Уралом все звери —
наши братья меньшие,
Дерсу Узала.
Ты всегда любил женщин —
в Самарканде тебе
найдется прекраснейшая
из прекрасных.

Э, – вздыхаешь, —

молодая ты, я старик.

Всё отговорки.

Давай сюда синюю шапку.

Синий-синий – радость
шаманская, бездна.

«Una lettera giunta ieri sera...»

Una lettera giunta ieri sera
sul mio tavolo,
indirizzo, testo, tutto scritto a mano:
una scrittura come una foresta
inquietata dal vento che rovina dall'alto,
un rotolare in basso, lunghi rami
e ramoscelli storti con dei buchi,
qua e là come uccelli le maiuscole.
Viene da Ratisbona, la Franconia profonda,
la Germania di fiaba.
“Non vedo più, leggo poco, mi stanco”:
così il vecchio alla sua antica allieva.

Non scrive più quell'altro, è in Garfagnana
accudito dai figli,
li fa impazzire per sedersi dritto,
si abbandona, lo sgridano,
parla dei suoi autori, di Tolstòj e di Puškin,
e non ricorda se ha pranzato o no.

L'antica allieva s'impresiona e dice
per me sarà diverso,
e prende il largo come un'anatrella.

Пришло вчера вечером,
лежит на столе,
всё – даже адрес – написано от руки,
почерк как бурелом:
сучья, дупла, коряги,
робкие птицы.
Из Ратисбоны – Франконии средней,
сказки немецкой.
«Не вижу почти, не читаю,
нет сил ни на что», —
пишет старик давней своей ученице.

Тот другой, в Гарфаньяне,

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.